

Эрнест Хемингуэй Снега Килиманджаро

* * *

Килиманджаро-покрытый вечными снегами горный массив высотой в 19710 футов, как говорят, высшая точка Африки. Племя масаи называет его западный пик «Нгайэ-Нгайя», что значит «Дом бога». Почти у самой вершины западного пика лежит иссохший мерзлый труп леопарда. Что понадобилось леопарду на такой высоте, никто объяснить не может.

– Самое удивительное, что мне совсем не больно,-сказал он. – Только так и узнают, когда это начинается.

– Неужели совсем не больно?

– Нисколько. Правда, запах. Но ты уж прости. Тебе, должно быть, очень неприятно,

– Перестань. Пожалуйста, перестань.

– Посмотри на них, – сказал он. – Интересно, что их сюда влечет? Самое зрелище или запах?

Койка, на которой он лежал, стояла под тенистой кроной мимозы, и, глядя дальше, на залитую слепящим солнцем долину, он видел трех громадных птиц,

раскорячившихся на земле, а в небе парило еще несколько, отбрасывая вниз быстро скользящие тени.

– Они торчат здесь с того самого дня, как сломался наш грузовик, – сказал он. – Сегодня в первый раз сели на землю. Сначала я очень внимательно следил за ними на тот случай, если понадобится всунуть их в какой-нибудь рассказ. Но теперь даже думать об этом смешно.

– Не надо, – сказала она.

– Да ведь это я просто так, – сказал он. – Когда говоришь, легче. Впрочем, я вовсе не хочу доставлять тебе неприятности

– Ты прекрасно знаешь, что дело не в этом, – сказала она. – Я нервничаю только потому, что чувствую свою беспомощность. Мы с тобой должны взять себя в руки и ждать самолета.

– Или не ждать самолета.

– Ну, скажи, что мне сделать? Неужели я ничем не могу помочь?

– Можешь отрубить мне ногу, тогда не поползет дальше; впрочем, сомневаюсь. Или можешь пристрелить меня. Ты теперь меткий стрелок. Ведь я научил тебя стрелять?

– Не надо так. Хочешь, я почитаю вслух?

– Что?

– Что-нибудь из того, что мы еще не читали.

– Нет, я не могу слушать, – сказал он. – Разговаривать легче. Мы ссоримся, а так время идет быстрее.

– Я не ссорюсь. Я не хочу ссориться с тобой. Не будем больше ссориться. Даже если нервы совсем развинтятся. Может, сегодня за нами пришлют грузовик. Может, прилетит самолет.

– Я не желаю двигаться с места, – сказал он. – Какой смысл? Разве только, чтобы тебе стало легче.

– Это трусость.

– Дай человеку спокойно умереть, неужели тебе обязательно нужно браниться? Что толку обзывать меня трусом?

– Ты не умрешь.

– Перестань говорить глупости. Я умираю. Спроси вон у тех гадин. – Он посмотрел туда, где три громадных омерзительных птицы сидели, втянув головы в перья, взъерошенные на шее. Четвертая опустилась на землю, пробежала немного, быстро перебирая ногами, и медленно, вразвалку, двинулась к остальным.

– Они кружат около каждой стоянки. Обычно их просто не замечаешь. Ты не умрешь, если сам не сдашься!

– Где ты это вычитала? Боже, до чего ты глупа!

– Тогда думай о ком-нибудь другом.

– Ну уж нет! – сказал он. – Хватит с меня этого занятия. Он откинулся на подушку и несколько минут

лежал молча, глядя на струившийся от зноя воздух и на кромку зеленевшего вдали кустарника. Там ходили барашки, крохотные и белые на желтом фоне, а еще дальше виднелось стадо зебр, совсем белых рядом с зелеными кустами. Место для стоянки было выбрано отличное – под большими деревьями, у подножия холма, хорошая вода, а в двух шагах почти пересохший источник, над которым по утрам летали куропатки.

– Хочешь, я почитаю вслух? – спросила она снова. Она сидела возле койки на складном парусиновом стуле. – Вот и ветерок поднимается.

– Нет, спасибо.

– Может быть, грузовик скоро придет.

– Мне совершенно безразлично, придет он или не придет.

– А мне не безразлично.

– У нас всегда так: что не безразлично тебе, безразлично мне.

– Нет, не всегда, Гарри.

– Надо бы выпить.

– Тебе это вредно. У Блэка сказано – воздерживаться от алкоголя. Тебе нельзя пить.

– Моло! – крикнул он.

– Да, бвана.

– Принеси виски с содовой.

– Да, бвана.

– Тебе нельзя пить, – сказала она. – Ты сдаешься, об этом я и говорила. Ведь там же сказано, что пить вредно. Я знаю, что тебе это вредно.

– Нет, – сказал он. – Мне это полезно.

Значит, теперь уже ничего не поделаешь, думал он. Значит, теперь он ничего не доведет до конца. Значит, вот чем все это завершается – пререканиями из-за виски. С тех пор как на правой ноге у него началась гангрена, боль прекратилась, а вместе с болью исчез и страх, и он ощущал теперь только непреодолимую усталость и злобу, оттого что таков будет конец. То, что близилось, не вызывало у него ни малейшего любопытства. Долгие годы это преследовало его, но сейчас это уже ничего не значило. Странно, что именно усталость так все облегчает.

Теперь он уже никогда не напишет о том, что раньше всегда приберегалось до тех пор, пока он не будет знать достаточно, чтобы написать об этом как следует. Что ж, по крайней мере, он не потерпит неудачи. Может быть, у него все равно ничего бы не вышло, поэтому он и откладывал свои намерения в долгий ящик и никак ее мог взяться за перо. Впрочем, теперь правды никогда не узнаешь.

– Не надо было приезжать сюда, – сказала женщина. Она смотрела на стакан у него в руке и кусала губы. –

В Париже ничего подобного с тобой бы не случилось. Ты всегда говорил, что любишь Париж. Можно было бы остаться в Париже или уехать куда-нибудь еще. Я бы поехала куда угодно. Я же говорила, что поеду, куда только ты захочешь. Если тебе хотелось поохотиться, мы могли бы поехать в Венгрию, там все было бы к нашим услугам.

– Всею виной твои поганые деньги, – сказал он.

– Это несправедливо, – сказала она. – Они столько же твои, сколько и мои. Я все бросила и ездила за тобой всюду, куда тебе хотелось, и я делала все, что тебе хотелось. Но сюда не надо было приезжать.

– Ты же говорила, что тебе здесь нравится.

– Да, когда ты был здоров. А сейчас здесь невыносимо. Я не понимаю, почему у тебя должна была разболеться нога. Чем мы это заслужили» что мы такое сделали?

– Я сделал вот что: сначала забыл прижечь йодом царапину на колене. Потом перестал думать об этом, потому что до сих пор никакая инфекция ко мне не приставала. Потом, когда нога разболелась, я примачивал ранку слабым раствором карболки, так как другие дезинфицирующие средства у нас вышли. От этого закупорились мелкие сосуды, началась гангрена. – Он взглянул на нее. – Что еще?

– Я не об этом.

– Если бы мы наняли настоящего шофера, а не какого-то идиота-туземца, он проверил бы уровень масла в моторе и не пережег бы подшипник.

– Я не об этом.

– Если бы ты не распостилась со своими друзьями, со всей этой сворой из Уэстбери, Саратоги, Палм-Бича и не ушла ко мне...

– Это несправедливо. Ведь я любила тебя. И сейчас люблю. И всегда буду любить. Разве ты меня не любишь?

– Нет, – сказал он. – По-моему, нет. По-моему, я тебя никогда не любил.

– Что ты говоришь, Гарри? Ты сошел с ума.

– Нет. Мне сходить не с чего, при всем желании.

– Не пей виски, – сказала она. – Милый, я прощу тебя, не пей. Мы должны сделать все, что в наших силах.

– Делай ты, – сказал он. – А я устал.

Сейчас он видел перед собой вокзал в Карагаче. Он уезжал тогда из Фракии после отступления и стоял с вещевым мешком за плечами, глядя, как фонарь экспресса Симплон–Ориент рассекает темноту. Вот это он тоже откладывал впрок, и еще про утренний завтрак и про то, как смотрели из окна и видели снег на горах в Болгарии, и секретарша Нансеновской миссии спросила шефа, неужели это снег, и старик посмотрел

туда и сказал: нет, это не снег. Для снега слишком рано. И секретарша повторила, обращаясь к другим девушкам: вы слышали? Это не снег, и они хором: это не снег, мы ошиблись. Не это был снег, самый настоящий снег, и шеф заслал туда, в горы, уйму народу, когда начался обмен населения. Людям пришлось пробираться по глубоким заносам, и они погибли в ту зиму все до одного.

В Гауэртале в тот год на рождество тоже шел снег. В тот год, когда они жили в домике дровосека с квадратной изразцовой печкой, которая занимала полкомнаты, и спали на тюфяках, набитых буковыми листьями. Тогда же в домик пришел дезертир, и на снегу от его ног тянулись кровавые следы. Он сказал, что за ним гонятся, и они дали ему шерстяные носки и отвлекли жандармов разговорами, пока следы не замело.

В Шрунсе на первый день рождества снег так блестел, что глазам было больно смотреть из окна Weinstube (кабачок (нем.)) на прихожан расходившихся после церковной службы по домам. Там же, в Шрунсе, они поднимались по укатанной санями, желтой от конской мочи дороге вдоль реки, мимо крутых гор, поросших сосновым лесом, – поднимались пешком, неся тяжелые лыжи на плече; и там же они совершили великолепный спуск на лыжах вниз по леднику над Мадленер-Хаус; снег был гладкий, как сахарная

глазурь, и легкий, как порошок, и он помнил бесшумный от быстроты полет, когда подаешь камнем вниз, точно птица.

Они застряли в Мадленер-Хаус на целую неделю из-за бурана, играли в карты при свете дымящего фонаря, и ставки поднимались все выше и выше, по мере того как проигрывал герр Ленц. Наконец он проиграл все дочиста. Все – деньги лыжной школы, доход за целый сезон, потом все свои сбережения. Он видел его, как живого, – длинноносый, берет карты со стола и ставит «*Sans voir*» (втемную (франц.)). Игра шла тогда круглые сутки. Снег валит – играют. Метели нет, – играют. Он подумал о том, сколько времени ушло у него в жизни на карты.

Но он не написал ни строчки ни об этом, ни о том холодном, ясном рождественском дне, когда горы четко виднелись по ту сторону долины, над которой Баркер перелетел линию фронта, чтобы бомбить поезд с австрийскими офицерами, уезжавшими с позиций домой, поливал их пулеметным огнем, когда они рассыпались и побежали кто куда. Он вспомнил, как Баркер зашел потом в офицерскую столовую и начал рассказывать об этом. И как вдруг стало тихо и, кто-то сказал: «Зверь, сволочь паршивая». Австрийцы, которых они убивали тогда, были такие же, с какими он позднее ходил на лыжах. Нет, не такие же. Ганс, с которым

он ходил на лыжах весь тот год, служил в егерском полку, и, охотясь вместе на зайцев в небольшой долине над лесопилкой, они говорили о боях у Пасубио и о наступлении под Петрикой и Асалоне, и он не написал об этом ни единой строчки. Ни о Монте-Корно, ни о Съете-Коммуни, ни об Арсиеро.

Сколько зим он прожил в Арльберге и Форарльберге? Четыре, и тут он вспомнил человека, который продавал лису, когда они шли в Блуденц покупать подарки, и славный кирш с привкусом вишневых косточек, вихрь легкого, как порошок, снега, разлетающегося по насту, песню «Хай-хо, наш Ролли!» на последнем перегоне перед крутым спуском, и прямо вниз, не сворачивая, потом тремя рывками через сад, дальше канавы, а за ней обледенелая дорога позади гостиницы. Крепление долой, сбрасываешь с ног лыжи и ставишь их к деревянной стене, а из окна свет лампы, и там, в комнате, в дымном, пахнущем молодым вином тепле играют на аккордеоне.

– Где мы останавливались в Париже? – спросил он женщину, которая сидела рядом с ним на складном стуле – здесь, в Африке.

– В отеле «Крийон». Ты же сам знаешь.

– Почему я должен это знать?

– Мы всегда там останавливались.

– Нет, не всегда.

– Там и в «Павильоне Генриха Четвертого» в Сен-Жерменском предместье. Ты говорил, что любишь эти места.

– Любовь – навозная куча, – сказал Гарри. – А я петух, который взобрался на нее и кричит кукареку.

– Если ты правда умираешь, – сказала она, – неужели тебе нужно убить все, что остается после тебя? Неужели ты все хочешь взять с собой? Неужели ты хочешь убить своего коня и свою жену, сжечь свое седло и свое оружие?

– Да, – сказал он. – Твои проклятые деньги – вот мое оружие, и с ними я был в седле.

– Перестань.

– Хорошо. Больше не буду. Я не хочу обижать тебя.

– Не поздно ли ты спохватился?

– Хорошо. Тогда буду обижать. Так веселее. То единственное, что я любил делать с тобой, сейчас мне недоступно.

– Нет, неправда. Ты любил и многое другое, и все, что хотелось делать тебе, делала и я.

– Ради бога, перестань хвалиться.

– Он взглянул на нее и увидел, что она плачет.

– Послушай, – сказал он. – Ты думаешь, мне приятно? Я сам не знаю, зачем я это делаю. Убиваешь, чтобы чувствовать, что ты еще жив, – должно быть, так. Когда мы начали разговаривать, все было хорошо. Я

не знал, к чему это приведет, а сейчас у меня ум за разум зашел, и я мучаю тебя. Ты не обращай на меня внимания, дорогая. Я люблю тебя. Ты же знаешь, что люблю. Я никого так не любил, как тебя. – Он свернул на привычную дорожку лжи, которая давала ему хлеб его насущный.

– Какой ты милый.

– Сука, – сказал он. – У суки щедрые руки. Это поэзия. Я сейчас полон поэзии. Скверны и поэзии. Скверны и поэзии.

– Замолчи, Гарри. Что ты беснуешься?

– Я ничего не оставлю, – сказал он. – Я ничего не хочу оставлять после себя.

Наступил вечер, и он проснулся. Солнце зашло за холм, и всю долину покрыла тень. Мелкие животные паслись теперь почти у самых палаток, и он смотрел, как они все дальше отходят от кустарника, головами то и дело пропадают к траве, крутят хвостиками. Птицы уже не дежурили, сидя на земле. Они грузно облепили дерево. Их заметно прибыло. Его бой сидел возле койки.

– Мемсаиб пошла стрелять, – сказал бой. – Бвана что-нибудь нужно?

– Нет.

Она пошла подстрелить какую-нибудь дичь к обеде и, зная, как он любит смотреть на животных, за-

бралась подальше, чтобы не потревожить тот уголок долины, который виден ему с койки. Она все помнит, подумал он. Все, что узнала, или прочла, или просто услышала.

Разве это ее вина, что он пришел к ней уже конечным. Откуда женщине знать, что за словами, которые говорят ей, ничего нет, что говоришь просто в силу привычки и ради собственного спокойствия. Когда он перестал придавать значение своим словам, его ложь имела больше успеха у женщин, чем правда.

Плохо не то, что он лгал, а то, что вместо правды была пустота. Жизнь свою он прожил, она давно кончилась, а он все еще жил, но теперь уже среди других людей, и денег теперь было больше, и из всех знакомых мест он выбирал лучшие, бывал и в новых местах.

Главное было не думать, и тогда все шло замечательно. Природа наделила тебя здоровым нутром, поэтому ты не раскисал так, как раскисает большинство из них, и притворялся, что тебе плевать на работу, которой ты был занят раньше, на ту работу, которая теперь была уже не по плечу тебе. Но самому себе ты говорил, что когда-нибудь напишешь про этих людей; про самых богатых; что ты не из их племени – ты соглядатай в их стане; ты покинешь его и напишешь о нем, и первый раз в жизни это будет написано чело-

веком, который знает то, о чем пишет. Но он так и не заставил себя приняться за это, потому что каждый день, полный праздности, комфорта, презрения к самому себе, притуплял его способности и ослаблял его тягу к работе, так что в конце концов он совсем бросил писать. Людям, с которыми он знался, было удобнее, чтобы он не работал. В Африке он когда-то провел лучшее время своей жизни, и вот он опять приехал сюда, чтобы начать все сызнова. В поездке они пользовались минимумом комфорта. Лишений терпеть не приходилось, но роскоши тоже не было, и он думал, что опять войдет в форму. Что ему удастся согнать жир с души, как боксеру, который уезжает в горы, работает и тренируется там, чтобы согнать жир с тела.

Ей нравилось здесь. Она говорила, что любит такую жизнь. Она любила все, что волнует, что влечет за собой перемену обстановки, любила новых людей, развлечения. И он уже тешил себя надеждой, что желание работать снова крепнет в нем. Теперь, если это конец, а он знал, что это конец, стоит ли корчиться и кусать самого себя, точно змея, которой перешибли хребет. Эта женщина ни в чем не виновата. Не будь ее, была бы другая. Если вся жизнь прошла во лжи, надо и умереть с ней. Он услышал звук выстрела за холмом.

У нее точный прицел, у этой доброй суки, у которой

щедрые руки, у этой ласковой опекунши и губительницы его таланта. Чуть. Он сам погубил свой талант. Зачем сваливать все на женщину, которая виновата только в том, что обставила его жизнь удобствами. Он загубил свой талант, не давая ему никакого применения, загубил изменой самому себе и своим верованиям, загубил пьянством, притупившим остроту его восприятия, ленью, сибаритством и снобизмом, честолубием и чванством, всеми правдами и неправдами. Что же сказать про его талант? Талант был, ничего не скажешь, но вместо того чтобы применять его, он торговал им. Никогда не было: я сделал то-то и то-то; было: я мог бы сделать, И он предпочел добывать средства к жизни не пером, а другими способами. И ведь это неспроста, – правда? – что каждая новая женщина, в которую он влюблялся, была богаче своей предшественницы. Но когда влюбленность проходила, когда он только лгал, как теперь вот этой женщине, которая была богаче всех, у которой была уйма денег, у которой когда-то были муж и дети, которая и до него имела любовников, но не находила в этом удовлетворения, а его любила нежно, как писателя, как мужчину, как товарища и как драгоценную собственность, – не странно ли, что, не любя ее, заменив любовь ложью, он не мог давать ей больше за ее деньги, чем другим женщинам, которых действительно любил.

Все мы, верно, созданы для своих дел, подумал он. Твой талант выражается в том, как ты зарабатываешь себе на кусок хлеба. Он только и делал, что в той или иной форме продавал свои силы, а когда чувства нет, то за полученные деньги даешь товар лучшего качества. Он убедился в этой истине, но и о ней он теперь уже никогда не напишет. Да, он не напишет об этом, а написать стоило бы.

Вот она появилась из-за холма, идет по долине к палаткам. На ней бриджи, в руках она держит ружье. Бои шагают следом и тащат барашка на палке. Она все еще интересная женщина, подумал он, и у нее хорошее тело. Она очень талантлива в любовных делах и понимает в них толк; хорошенькой ее не назовешь, но ему нравилось ее лицо, она массу читала, любила верховую саду, охоту и, конечно, слишком много пила. Муж у нее умер, когда она была еще сравнительно молодой женщиной, и после его смерти она вся ушла, правда, ненадолго, в своих уже подросших детей, которым это было совсем не нужно и только тяготило их, в свою конюшню, книги и вино. Она любила читать по вечерам перед обедом и, читая, пила виски с содовой. К обеду она выходила пьяная, и бутылки вина, выпитой за столом, ей было достаточно, чтобы заснуть.

Все это было до любовников. Когда у нее появились любовники, она стала меньше пить, потому что

теперь сон приходил и без вина. Но с любовниками она скучала. Она была замужем за человеком, с которым никогда не было скучно, а с этими она очень скучала.

Потом ее сын погиб в воздушной катастрофе, и после этого она покончила с любовниками, а так как виски не утоляло боли, приходилось начинать какую-то другую жизнь. Она вдруг остро почувствовала свое одиночество и испугалась. Но ей нужен был человек, которого можно уважать.

Все началось очень просто. Ей нравились его книги, и она всегда завидовала его образу жизни. Ей казалось, что он делает именно то, что ему хочется делать. Шаги, предпринятые ею, чтобы завладеть им, то, как она в конце концов полюбила его, – все это вошло в некую обратно пропорциональную прогрессию, в которой она строила новую жизнь, а он продавал остатки своей прежней жизни.

Он продавал ее, чтобы получить взамен обеспеченное существование, чтобы получить комфорт, – этого отрицать нельзя, – и что еще? Кто знает? Она купила бы ему все, исполнила бы любое его желание. В этом он не сомневался. К тому же как женщина она была замечательна. Он ничего не имел против того, чтобы сойтись именно с ней; пожалуй, с ней даже скорее, чем с какой-нибудь другой женщиной, потому что она

была богаче, потому что она была очень приятна и понимала толк в любви и никогда не устраивала сцен. А теперь жизнь, которую она построила заново, приближалась к концу, потому что две недели назад он не прижег йодом колена, оцарапанного о колючку, когда они пробирались в зарослях, чтобы сфотографировать стадо антилоп, стоявших, высоко подняв головы, всматривавшихся вперед, – ноздри жадно вбирают воздух, уши в струнку, малейший шорох – и умчатся в кусты. И они удрали, не дав ему времени щелкнуть аппаратом.

Вот она, пришла.

Он повернул голову на подушке, навстречу ей, и сказал:

– Хэлло!

– Я подстрелила барашка, – сказала она. – Дадим тебе вкусного бульону, и я велю еще приготовить картофельное пюре на порошковом молоке. Как ты себя чувствуешь?

– Гораздо лучше.

– Вот хорошо! Знаешь, я так и думала, что тебе будет лучше. Ты спал, когда я ушла.

– Я хорошо выспался. Ты далеко забралась?

– Нет. Только обогнула холм. Знаешь, я ловко его подстрелила.

– Ты замечательно стреляешь.

– Я люблю охоту. И Африку полюбила. Правда. Если ты поправишься, я так и буду считать, что эта поездка самое интересное, что у меня было в жизни. Если бы ты знал, как мне интересно охотиться вместе с тобой. Я полюбила Африку.

– Я тоже ее люблю.

– Милый, если бы ты только знал, как это замечательно, что тебе лучше. Я просто не могу, когда ты становишься таким, как сегодня утром. Ты больше не будешь так говорить со мной? Обещаешь?

– Хорошо. Не буду, – сказал он. – Я не помню, что я говорил.

– Зачем мучить меня? Не надо. Я всего только пожилая женщина, которая любит тебя и хочет делать то, что хочется делать тебе. Меня уже столько мучили. Ты не станешь меня мучить, ведь нет?

– Я бы с удовольствием помучил тебя в постели, – сказал он.

– Вот это другое дело. Для этого мы и созданы. Завтра прилетит самолет.

– Откуда ты знаешь?

– Я в этом уверена. Он обязательно прилетит. Бой приготовили хворост и траву для дымовых костров. Я сегодня опять ходила туда посмотреть. Места для посадки достаточно, и мы разожжем костры по обеим сторонам.

– Почему ты думаешь, что он прилетит завтра?

– Я уверена, что прилетит. Пора уже. В городе твою ногу вылечат, и тогда мы помучаем друг друга по-настоящему. Не так, как ты мучил меня сегодня своими разговорами.

– Давай выпьем? Солнце уже село.

– Тебе, пожалуй, не стоит.

– А я буду.

– Тогда выпьем вместе. Мало, принеси нам виски с содовой, – крикнула она.

– Ты бы надела высокие башмаки, а то москиты налетят, – сказал он ей.

– Я сначала помоюсь.

– Пока надвигалась темнота, они пили, а перед тем как совсем стемнело и стрелять было уже нельзя, по долине пробежала гиена и скрылась за холмом.

– Эта дрянь каждый вечер здесь бегаёт, – сказал он. – Каждый вечер две недели подряд.

– Это та самая, что воет по ночам. Пусть ее, мне она не мешает. Хотя они очень противные.

Теперь, когда он потягивал вместе с ней виски и боль исчезла, – только неудобно лежать, не меняя положения, а бои разводили костер и тень от него металась по стенкам палаток, – он чувствовал, как к нему снова возвращается примиренность с этой жизнью, ставшей приятной неволей. Она очень добра к нему.

Он был жесток и несправедлив сегодня утром. Она хорошая женщина, просто замечательная женщина. И в эту минуту он вдруг понял, что умирает.

Это налетело вихрем; не так, как налетает дождь или ветер, а вихрем внезапной, одуряющей смрадом пустоты, и самое странное было то, что по краю этой пустоты неслышно скользнула гиена.

– Ты что, Гарри? – спросила она.

– Ничего, – сказал он. – Ты бы пересела. Так чтобы ветер был с твоей стороны.

– Мало сделал тебе перевязку?

– Да. Я наложил примочку из борной.

– Как ты себя чувствуешь?

– Слабость немножко.

– Я пойду помоюсь, – сказала она. – Это недолго.

Мы поедем вместе, а потом надо внести койку.

«Значит, – сказал он самому себе, – мы хорошо сделали, что прекратили ссоры». Он никогда особенно не ссорился с этой женщиной, а с теми, которых любил, ссорился так часто, что под конец ржавчина ссор неизменно разъедала все, что связывало их. Он слишком сильно любил, слишком многого требовал и в конце концов оставался ни с чем.

Он думал о том, как было тогда в Константинополе, – один, после ссоры в Париже перед самым отъездом. Он развратничал все те дни, а потом, когда опом-

нился и чувство одиночества не только не прошло» а стало еще острее, он написал ей, первой, той, которая бросила его, написал о том, что ему так и не удалось убить в себе это... О том, как ему показалось однажды, что она прошла мимо Regence, и у него все заныло внутри, и о том, что если какая-нибудь женщина чем-то напоминала ее, он шел за ней по бульвару, боясь убедиться, что это не она, боясь потерять то чувство, которое охватывало его при этом. О том, что все женщины, с которыми он спал, только сильнее заставляли его тосковать по ней. И что все то, что она сделала, не имеет никакого значения теперь, когда он убедился, что не может излечиться от этой любви. Он писал это письмо в клубе, совершенно трезвый, и отправил его в Нью-Йорк, попросив ее ответить в Париж по адресу редакции. Казалось, это вполне безопасно. И в тот же вечер, истосковавшись по ней до чувства щемящей пустоты внутри, он подцепил около Таксима первую попавшуюся и пошел с ней ужинать. Потом они поехали в дансинг, танцевала она плохо, и он отделался от нее, пригласив какую-то разнузданную армянскую девку, которая, танцуя, так терлась об него животом, что его бросало в дрожь. Он отбил ее со скандалом у английского артиллериста. Артиллерист вызвал его на улицу, и они схватились там в темноте, на булыжной мостовой. Он ударил его два раза

по скуле со всего размаху, но артиллерист не упал, и тогда он понял, что драка предстоит серьезная. Артиллерист ударил его в грудь, потом чуть ниже глаза. Он опять нанес длинный боковой удар левой, артиллерист вцепился ему в пиджак и оторвал рукав, а он съездил его два раза по уху и потом, оттолкнув от себя, нанес еще удар правой. Артиллерист повалился, стукнувшись головой о камни, а он поспешил удрать с женщиной, потому что к ним уже приближался военный патруль. Они взяли такси, поехали вдоль Босфора к Риммили-Хисса, сделали круг, потом обратно по свежему ночному воздуху и легли в постель, и она была такая же перезрелая, как и в платье, но шелковистая, как розовый лепесток, липкая, шелковистый живот, большие груди. Он ушел, когда она еще спала, и на рассвете вид у нее был здорово потасканный. Оттуда – в Пера-Палас с подбитым глазом, пиджак под мышкой, потому что одного рукава не хватало.

В тот же вечер он выехал в Анатолию, а на другой день поезд шел полями, засеянными маком, из которого добывают опиум, и сейчас он вспомнил, какое странное самочувствие у него было к концу дня, и какими обманчивыми казались расстояния последнюю часть пути перед фронтом, где проводили наступление с участием только что прибывших греческих офицеров, которые были форменными болванами, и ар-

тиллерия стреляла по своим, и английский военный наблюдатель плакал, как ребенок.

В тот же день он впервые увидел убитых солдат в белых балетных юбочках и в туфлях с загнутыми кверху носками и с помпонами. Турки валили стеной, и он видел, как солдаты в юбочках бросились бежать, а офицеры стреляли по ним, а потом сами побежали, и он тоже повернул следом за английским наблюдателем и бежал так быстро, что у него заломило в груди, во рту был такой привкус, точно там полно медяков, и они укрылись за скалами, а турки все валили и валили. Позднее ему пришлось увидеть такое, чего он даже и в мыслях себе не мог представить; а потом он видел и гораздо худшее. Поэтому, вернувшись в Париж, он не мог ни говорить, ни слушать об этом. И когда он проходил мимо одного кафе в Париже, там сидел тот самый американский поэт, на столике перед ним гора блюдецек, и лицо у него глупое и рыхлое, как картофелина; поэт говорил о дадаистах с румыном, неким Тристаном Тцара, который носил монокль и всегда жаловался на головную боль; а потом снова в своей квартире, с женой, которую он теперь опять любил; ссоры как не бывало, безумия как не бывало, рад, что вернулся; почту из редакции присылают на дом. И вот однажды утром за завтраком ему подали ответ на письмо, которое он написал тогда, и, узнав

почерк, он весь похолодел и хотел подсунуть письмо под другой конверт. Но жена спросила: «От кого это, милый?» – и тут пришел конец тому, что только начиналось у них.

Он вспомнил хорошие дни, проведенные с ними со всеми, и ссоры. Они всегда ухитрялись выбирать для ссор самые чудесные минуты. И почему это ссориться с ним надо было именно тогда, когда ему было хорошо? Он так и не написал об этом, потому что сначала ему никого не хотелось обидеть, а потом стало казаться, что и без того есть о чем писать. Но он всегда думал, что в конце концов напишет об этом. Столько всего было, о чем хотелось написать. Он следил за тем, как меняется мир; не только за событиями, хотя ему пришлось повидать их достаточно – и событий и людей; нет, он замечал более тонкие перемены и помнил, как люди по-разному вели себя в разное время. Все это он сам пережил, ко всему приглядывался, и он обязан написать об этом, но теперь уже не напишет.

– Как ты себя чувствуешь? – Она уже помылась и вышла из палатки.

– Хорошо.

– Может быть, поешь теперь? – За ее спиной он увидел Моло со складным столиком и второго боя с посудой.

– Я хочу писать, – сказал он.

– Тебе надо выпить бульону, подкрепиться.

– Я сегодня умру, – сказал он. – Мне незачем подкрепляться.

– Не надо мелодрам, Гарри, – сказала она.

– Ты что, потеряла обоняние? Нога у меня наполовину сгнила. Очень мне нужен этот бульон! Моло, принеси виски с содовой.

– Выпей бульону, я прошу тебя, – мягко сказала она.

– Хорошо.

Бульон был очень горячий. Он долго студил его в чашке и потом выпил залпом, не поперхнувшись.

– Ты замечательная женщина, – сказала она. – Не обращай на меня внимание.

Она повернулась к нему лицом – такое знакомое, любимое лицо со страниц «Города и виллы», только чуть-чуть подурневшее от пьянства, только чуть-чуть подурневшее от любовных утех; но «Город и вилла» никогда не показывал этой красивой груди, и этих добротных бедер, и легко ласкающих рук, и, глядя на ее такую знакомую, приятную улыбку, он снова почувствовал близость смерти. На этот раз вихря не было. Был легкий ветерок, дуновение, от которого пламя свечи то меркнет, то вытягивается столбиком.

– Немного погодя вели принести сетку, пусть ее протянут от койки к дереву и разведут костер. Я не хочу перебираться в палатку на ночь. Не стоит труда. Ночь

ясная. Дождя не будет.

Значит, вот как умирают – в шепоте, который еле различим. Ну что ж, по крайней мере, конец ссорам. Это он может пообещать. Он не станет портить то единственное, что ему никогда еще не приходилось испытывать на себе. Наверно, испортит. Ведь портишь все. А может быть, и не испортит.

– Ты не умеешь стенографировать?

– Нет, не умею, – сказала она.

– Ничего, не важно.

Времени, правда, уже не хватит, хотя все это так втиснуто одно в другое, что кажется, можно уложиться в один абзац, лишь бы только суметь.

На горе у озера стоял бревенчатый домик, промазанный по щелям белой известью. Возле двери на шесте был колокол, в который звонили, сзывая всех к столу. За домом было поле, а позади поля начинался лес. От дома к пристани тянулась аллея серебристых тополей. На мысу тоже росли тополя. Вдоль опушки леса шла дорога в горы, и по краям этой дороги он собирал ежевику. Потом бревенчатый домик сгорел, и все ружья, висевшие на оленьих ножках над камином, тоже сгорели, и ружейные стволы, без прикладов с расплавившимся в магазинных коробках свинцом валялись в куче золы, которая шла на щелок для больших мыловаренных котлов, и ты спросил дедуш-

ку, можно взять эти стволы поиграть, и он сказал нет. Ведь это были все еще его ружья, а новых он так и не купил, и с тех пор больше не охотился. Дом отстроили заново на том же самом месте, но уже из старого теса, и побелили его, и с террасы были видны тополя, а за ними озеро; но ружей в доме больше не было. Стволы ружей, висевших когда-то в бревенчатом домике на оленьих ножках, валялись в куче золы, и никто теперь не прикасался к ним.

В Шварцвальде после войны мы арендовали ручей, в котором водилась форель, и к нему можно было пройти двумя путями. Первый вел через долину – спуск начинался от Триберга, – под тенистыми деревьями, которые окаймляли белую дорогу, а потом по тропинке, поднимавшейся в горы, мимо небольших ферм с высокими шварцвальдскими домами, и так до того места, где дорога пересекала ручей. С этого места мы и начали удить рыбу.

Другой путь вел прямо по круче к лесной опушке, а потом надо было идти сосновым лесом, через горы; выходишь к лугу, и этим лугом вниз до моста. Вдоль ручья росли березы, он был небольшой, узкий, но прозрачный, быстрый и с заводями, там, где течение подмыло корни берез. У хозяина отеля в Триберге выдался удачный сезон. Там было очень хорошо, и мы быстро с ним подружились. На следующий год началась

инфляция, и всех его прошлогодних сбережений не хватило даже на покупку продовольствия к открытию отеля, и он повесился.

Это можно застенографировать, но разве продиктуешь о площади Контрэскарп, где продавщицы цветов красили свои цветы тут же, на улице, и краска стекла по тротуару к автобусной остановке; о стариках и старухах, вечно пьяных от вина и виноградных выжимок; о детях с мокрыми от холода носами, о запахе грязного пота, и нищеты, и пьянства, и о проститутках в «Ball Musette» (дешевое помещение для ганцев (франц.)), над которым они жили тогда. О консьержке, принимавшей у себя в каморке солдата республиканской гвардии, – его каска с султаном из конской гривы лежала на стуле. О жилище по ту сторону коридора, муж которой был велосипедным гонщиком, и о том, как она обрадовалась в то утро в молочной, когда развернула «L'Auto» и прочла, что он занял третье место в гонках Париж-Тур, его первом серьезном пробеге. Она покраснела, засмеялась, заплакала и потом побежала к себе наверх, не выпуская из рук желтой спортивной газетки. Муж той женщины, которая содержала «Ball Musette», был шофером такси, и когда ему, Гарри, надо было поспеть рано утром на аэродром, шофер постучался к нему и разбудил его, и они выпили на дорогу по стакану белого вина у цинко-

вой стойки в баре. Он знал тогда всех соседей в своем квартале, потому что это была беднота.

Люди, жившие вокруг площади, делились на две категории: на пьяниц и на спортсменов. Пьяницы глушили свою нищету пьянством; спортсмены отводили душу тренажем. Они были потомками коммунаров, и политика давалась им легко. Они знали, кто расстрелял их отцов, их близких, их друзей, когда версальские войска заняли город после Коммуны и расправились со всеми, у кого были мозолистые руки, или кепка на голове, или какое-нибудь другое отличие, по которому можно узнать рабочего человека. И среди этой нищеты и в этом квартале, наискосок от «Boucherie Chevaline» («Торговля кониной» (франц.)), в винной лавочке, он написал свои первые строки, положил начало тому, чего должно было хватить на всю жизнь. Не было для него Парижа милее этого, – развесистые деревья, оштукатуренные белые дома с коричневой панелью внизу, длинные зеленые туши автобусов на круглой площади, лиловая краска от бумажных цветов на тротуаре, неожиданно крутой спуск к реке, на улицу Кардинала Лемуана, а по другую сторону – узкий, тесный мирок улицы Муфтар. Улица, которая поднималась к Пантеону, и другая» та, по которой он ездил на велосипеде, единственная асфальтированная улица во всем районе, гладкая под шинами, с высо-

кими, узкими домами и дешевой гостиницей, где умер Поль Верлен. Квартира у них была двухкомнатная, и он снимал еще одну комнату в верхнем этаже этой гостиницы; она стоила шестьдесят франков в месяц, и там он писал, и оттуда ему были видны крыши, и трубы, и все холмы Парижа.

Из окон квартиры была видна лавочка угольщика. Угольщик торговал и вином, плохим вином. Позолоченная лошадиная голова над входом в «Boucherie Chevaline», ее открытая витрина с золотисто-желто-красными тушами и выкрашенная в зеленый цвет винная лавочка, где они брали вино; хорошее вино и дешевое. Дальше шли оштукатуренные стены и окна соседей. Тех самых соседей, которые по вечерам, когда какой-нибудь пьяница валялся на улице и стонал, вздыхал, сбитый с ног типично французской ivresse (опьянение (франц.)), – хотя принято уверять, что ничего подобного не существует, – открывали окна, и до тебя доносились их голоса:

– Где полицейский? Когда не надо, так этот прохвост всегда на месте. Поди спит с какой-нибудь консьержкой. Разущите ажана. – Наконец кто-нибудь выплескивает ведро воды из окна, и стоны затихают. – Что это? Вода? Правильно! Лучше и не придумаешь. – И окна захлопываются.

Мари, его приходящая прислуга, недовольна вось-

мичесовым рабочим днем:

– Если муж работает до шести, он хоть и успевает выпить по дороге домой, но самую малость, и зря денег не тратит. А если он на работе только до пяти часов, значит, каждый вечер пьян вдребезги, и денег в глаза не видишь. Кто страдает от сокращения рабочего дня? Мы, жены.

– Хочешь еще бульону? – спрашивала его женщина.

– Нет, большое спасибо. Бульон замечательный.

– Выпей еще немножко.

– Дай мне лучше виски с содовой.

– Тебе это вредно.

– Да. Мне это вредно. Слова и музыка Коула Портера. Когда лицо твое от страсти бледно.

– Ты же знаешь, я люблю, когда ты пьешь.

– Ну еще бы. Только мне это вредно.

Когда она уйдет, подумал он, выпью столько, сколько захочется. Не сколько захочется, а сколько там есть. Ох, как он устал. Надо немножко вздремнуть. Он лежал тихо, и смерти рядом не было. Она, должно быть, свернула на другую улицу. Разъезжает, по двое, на велосипедах, неслышно скользит по мостовой.

Да, он никогда не писал о Париже. Во всяком случае, о том Париже, который был дорог ему. Ну, а остальное, что так и осталось ненаписанным?

А ранчо и серебристая седина шалфея, быстрая прозрачная вода в оросительных каналах и тяжелая зелень люцерны? Тропинка уходила в горы, и коровы за лето становились пугливые, как олени. Мычание и мерный топот, и медленнодвигающаяся масса поднимает пыль, когда осенью гонишь их с гор домой. А по вечерам за горами ясная четкость горного пика, и едешь вниз по тропинке при свете луны, заливающей всю долину. Сейчас ему вспомнилось, как он возвращался лесом, держась за хвост лошади в темноте, когда ни зги не было видно, вспомнились и все рассказы, которые он собирался написать о тех местах.

Рассказ о дурачке-работнике, еще подростке, которого оставили тогда на ранчо с наказом никому не давать сена, и о том, как этот старый болван из Форкса, который бил дурачка, когда тот работал у них, зашел на ранчо за фуражом. Мальчик не дал, и старик пригрозил, что опять изобьет его. Мальчик взял на кухне ружье и застрелил старика у сарая, и когда они вернулись через неделю на ранчо, труп лежал замерзший в загоне для скота, и собаки успели изгрызть его. А то, что осталось, ты завернул в одеяло, уложил в санки и заставил мальчика помогать тебе, и вдвоем, оба на лыжах, вы волокли их по дороге, и так шестьдесят миль до города, где надо было сдать мальчика властям. А ему и в голову не приходило, что его аресту-

ют. Думал, что исполнил свой долг, и ты его друг, и он получит награду за свой поступок. Он помогал везти старика, – пусть все знают, какой этот старик был нехороший, и как он хотел украсть чужое сено, и когда шериф надел на мальчика наручники, тот не поверил своим глазам. Потом заплакал. Вот и этот рассказ ты всегда приберегал на будущее. У него хватило бы материала, по крайней мере, на двадцать рассказов о тех местах, а он не написал ни одного. Почему?

– Поди расскажи им почему, – сказал он.

– Что «почему», милый?

– Ничего.

Она стала меньше пить, с тех пор как завладела им. Но если даже он выживет, он никогда не напишет о ней, теперь ему это ясно. И о других тоже. Богатые – скучный народ, все они слишком много пьют или слишком много играют в триктрак. Скучные и все на один лад. Он вспомнил беднягу Скотта Фицджеральда, и его восторженное благоговение перед ними, и как он написал однажды рассказ, который начинался так: «Богатые не похожи на нас с вами». И кто-то сказал Фицджеральду: «Правильно, у них денег больше». Но Фицджеральд не понял шутки. Он считал их особой расой, окутанной дымкой таинственности, и когда он убедился, что они совсем не такие, это согнуло его не меньше, чем что-либо другое.

Он презирал тех, кто сгибается под ударами жизни. Ему-то можно было не увлекаться такими вещами, потому что он видел все это насквозь. Он справится с чем угодно, думал он, потому что его ничто не может сломить, не надо только ничему придавать слишком большого значения.

Хорошо. Вот теперь он не придает никакого значения смерти. Единственное, чего он всегда боялся, — это боли. Он мужчина, он мог выносить боль, если только она не слишком затягивалась и не изматывала его, но в этот раз страдания были просто нестерпимы, и когда он уже чувствовал, что начинает сдавать, боль утихла.

Он вспомнил давний случай: артиллерийского офицера Уильямсона ранило ручной гранатой, брошенной с немецкого сторожевого поста в ту минуту, когда Уильямсон перебирался ночью через проволочные заграждения, и он кричал, умоляя, чтобы его пристрелили. Уильямсон был толстяк, очень храбрый и хороший офицер, хотя невероятный позер. Но тогда, ночью, он, раненный, попал в луч прожектора, и внутренности у него вывалились наружу и повисли на проволоке, так что тем, кто снимал его оттуда еще живым, пришлось обрезать их ножом. Пристрели меня, Гарри, ради всего святого, пристрели меня. Как-то раз зашел разговор на тему, что господь бог ниспосыла-

ет человеку только то, что он может перенести, и кто-то защищал такую теорию, будто бы в известный момент боль убивает человека. Но он на всю жизнь запомнил, как было с Уильямсоном в ту ночь. Боль не могла убить Уильямсона, и он отдал ему все свои таблетки морфия, которые приберегал для себя, и даже они подействовали не сразу.

Но то, что происходит с ним сейчас, совсем не страшно; и если хуже не станет, то беспокоиться не о чем. Правда, он предпочел бы находиться в более приятной компании.

Он подумал немного о людях, которых ему хотелось бы видеть сейчас около себя.

Нет, думал он, когда делаешь все слишком долго и слишком поздно, нечего ждать, что около тебя кто-то останется. Люди ушли. Прием кончен, и теперь ты наедине с хозяйкой.

«Мне так же надоело умирать, как надоело все остальное», – подумал он.

– Надоело, – сказал он вслух.

– Что надоело, милый?

– Все, что делаешь слишком долго.

Он взглянул на нее. Она сидела между ним и костром, откинувшись на спинку стула, и пламя отсвечивало на ее лице, покрытом милыми морщинками, и он увидел, что ее клонит ко сну. Гиена заскулила, по-

добравшись почти вплотную к светлому кругу, падавшему от костра.

– Я писал, – сказал он. – Но это очень утомительно.

– Как ты думаешь, удастся тебе заснуть?

– Конечно, засну. Почему ты сама не ложишься?

– Мне хочется посидеть с тобой.

– Ты ничего такого не чувствуешь? – спросил он.

– Нет. Просто хочется спать.

– А я чувствую, – сказал он.

Он только что услышал, как смерть опять прошла мимо койки.

– Знаешь, единственно, чего я еще не утратил, – это любопытства, – сказал он ей.

– Ты ничего не утратил. Ты самый полноценный человек из всех, кого я только знала.

Господи боже, – сказал он. – Как мало дано понимать женщине. Что это? Ваша так называемая интуиция?

Потому что в эту минуту смерть подошла и положила голову в ногах койки и до него донеслось ее дыхание.

– Не верь, что она такая, как ее изображают, с косой и черепом, – сказал он. – С не меньшим успехом это могут быть и двое полисменов на велосипедах, и птица. Или же у нее широкий приплюснутый нос, как у гиены.

Смерть пододвинулась, но теперь это было что-то бесформенное. Она просто занимала какое-то место в пространстве.

– Скажи, чтоб она ушла.

Она не ушла, а придвинулась ближе.

– Ну и несет же от тебя, – сказал он. – Вонючая дрянь. Она придвинулась еще ближе, и теперь он уже не мог говорить с ней, и, увидев, что он не может говорить, она подобралась еще ближе, и тогда он попробовал прогнать ее молча, но она ползла все выше и выше, придавливая ему грудь, и когда она легла у него на груди, не давая ему ни двигаться, ни говорить, он услышал, как женщина сказала:

– Бвана уснул. Поднимите койку, только осторожнее, и внесите его в палатку.

Он не мог сказать, чтобы ее прогнали, и она навалилась на него всей своей тушей, не давая дышать. И вдруг, когда койку подняли, все прошло, и тяжесть, давившая ему грудь, исчезла.

Было утро, оно наступило давным-давно, и он услышал гул самолета. Самолет сначала показался в небе точкой, потом сделал широкий круг, и бои выбежали ему навстречу и, полив кучи хвороста керосином, подожгли их и навалили сверху травы, так что по обоим концам ровной площадки получилось два больших костра, и утренний ветерок гнал дым к лаге-

рю, и самолет сделал еще два круга, на этот раз ближе к земле, потом скользнул вниз, выровнялся и мягко сел на площадку, и вот к палаткам вдет его старый приятель Комтон – в мешковатых брюках, в твидовом пиджаке и коричневой фетровой шляпе.

– Что с вами, дружище? – спросил Комтон.

– Да вот нога, – сказал он. – Вы позавтракаете?

– Спасибо. Чаю выпью. Я на Мотыльке. Мемсаиб не удастся захватить. Места только на одного. Ваш грузовик уже в пути.

Эллен отвела Комтона в сторону и заговорила с ним. Комтон вернулся еще более оживленный.

– Сейчас мы вас устроим, – сказал он. – За мемсаиб я вернусь. Ну, давайте поспешим. Может, еще придется сделать посадку в Аруше, за горючим.

– А как же чай?

– Да мне, собственно, не хочется.

Бои подняли койку, обогнули с ней зеленые палатки, понесли дальше, мимо скалы, и по равнине мимо костров, которые полыхали на ветру без дыма, потому что от травы уже ничего не осталось, – и подошли к маленькому самолету. Внести его туда было нелегко, но когда наконец внесли, он откинулся на спинку кожаного кресла, а ногу ему подняли и положили на переднее кресло – место Комтона. Комтон запустил мотор и вошел в кабину. Он помахал Эллен и боям,

и, как только треск мотора перешел в привычный уху рев, Комтон сделал разворот, обходя кабаньи ямы, и, подсакивая на ходу, машина понеслась по площадке между кострами и с последним толчком поднялась в воздух, и он увидел, как те внизу машут им вслед, и палатки возле холма теперь почти вровень с землей, долина открывается все шире и шире, кучки деревьев и кустарника тоже почти вровень с землей, а звериные тропы тянутся ниточками к пересохшим водоемам, и вон там еще один водоем, которого он никогда не видел. Зебры – сверху видны только их округлые спины, и антилопы-гну – головастыми пятнышками растянулись по долине в несколько цепочек, точно растопыренные пальцы, и кажется, будто они лезут в гору. Вот шархнулись в разные стороны, когда тень настигла их, сейчас совсем крохотные, и не заметно, что скачут галопом, и равнина сейчас серо-желтая до самого горизонта, а прямо перед глазами твидовая спина и фетровая шляпа Комти. Потом они пролетели над предгорьем, где антилопы-гну карабкались вверх по тропам, потом над линией гор с внезапно поднимающейся откуда-то из глубин зеленью лесов и с откосами, покрытыми сплошной бамбуковой зарослью, а потом опять дремучие леса, будто изваянные вместе с горными пиками и ущельями, и наконец перевал, и горы спадают, и потом опять равнина, зали-

тая зноем, лиловато-бурая, машину подбрасывает на волнах раскаленного воздуха, и Комти оборачивается посмотреть, как он переносит полет. А впереди опять темнеют горы.

И тогда, вместо того чтобы взять курс на Арушу, они свернули налево, вероятно, Комти рассчитал, что горючего хватит, и, взглянув вниз, он увидел в воздухе над самой землей розовое облако, разлетающееся хлопьями, точно первый снег в метель, который налетает неизвестно откуда, и он догадался, что это саранча повалила с юга. Потом самолет начал набирать высоту и как будто свернул на восток, и потом вдруг стало темно, – попали в грозовую тучу, ливень сплошной стеной, будто летишь сквозь водопад, а когда они выбрались из нее, Комти повернул голову, улыбнулся, протянул руку, и там, впереди, он увидел заслоняющую все перед глазами, заслоняющую весь мир, громадную, уходящую ввысь, немыслимо белую под солнцем, квадратную вершину Килиманджаро. И тогда он понял, что это и есть то место, куда он держит путь.

Как раз в эту минуту гиена перестала скулить в темноте и перешла на какие-то странные, почти человеческие, похожие на плач вопли. Женщина услышала их и беспокойно зашевелилась у себя на койке. Она не проснулась. Ей снился дом на Лонг-Айленде и буд-

то это вечер накануне первого выезда в свет ее дочери. Почему-то и отец тут же, и он очень резок с ней. Потом гиена завывала так громко, что она проснулась и в первую минуту не могла понять, где она, и ей стало страшно. Она взяла карманный фонарик и осветила им вторую койку, которую внесли, когда Гарри уснул. Она увидела, что он лежит там, покрытый сеткой от москитов, а ногу почему-то высунул наружу, и она свисает с койки. Повязка сползла, и она боялась взглянуть туда.

– Моло, – позвала она, – Моло, Моло! – Потом крикнула: – Гарри, Гарри! – Потом громче: – Гарри! Ради бога, Гарри!

Ответа не было, и она не слышала его дыхания. За стенами палатки гиена издавала те же странные звуки, от которых она проснулась. Но сердце у нее так стучало, что она не слышала их.